ВАДИМ РЕЗЦОВ



# КЛЕЙМО МАСТЕРА

## УКРАДЕННЫЕ РУНЫ

КНИГА 1

Вадим Резцов

# Клеймо мастера. Украденные руны. Книга 1

«Автор»
2026

**Резцов В.**

Клеймо мастера. Украденные руны. Книга 1 / В. Резцов — «Автор», 2026

Сорок лет легендарные клинки империи выходили из-под моего резца. И ни на одном нет моего имени.Я резал руны для гвардейских сабель, банковских замков и мостов, а славу брал «великий мастер» дома Зарецких. Когда срок уговора вышел, я попросил обещанную вольную. Получил нож.Очнулся в сугробе на Лиговке, в теле восемнадцатилетнего парня, избитого сборщиками долгов. Петербург, 1888 год. Холодный горн, долг ростовщику, треснутые рёбра.А рядом лежала моя сабля. Ночью ею зарезали того самого ростовщика, и первым подозреваемым стал я. Сыщик с Офицерской дал мне неделю.Только никто в столице не читает сталь так, как я. Одно касание, и я знаю, когда её резали и чья рука перекроила руны под убийство. А «Клеймо», моя подпись на последней работе, вернуло меня с того света и ведёт в голове счёт умениям.Беда одна: мой почерк узнает любой мастер дома, который меня убил. Резать в полную силу нельзя.Они украли мои руны. Я заберу их назад, все до одной.

© Резцов В., 2026
© Автор, 2026

# Содержание

Глава 1. Последний заказ 5
Глава 2. Сугроб 11
Глава 3. Офицерская улица 18
Конец ознакомительного фрагмента. 25

# Вадим Резцов
# Клеймо мастера.
# Украденные руны. Книга 1

## Глава 1. Последний заказ

Резец шёл по стали ровно, с тонким сухим шорохом, какой бывает только у хорошего металла под хорошо заправленным инструментом. Перед жалом поднимался завиток стружки, светлый, тоньше волоса, и я сдувал его, не отрывая руки. Лампу я ещё днём поставил слева и опустил абажур пониже, чтобы свет ложился вдоль черты, а не в глаза. Над резным залом, за стеклянным фонарём в крыше, давно стемнело. Декабрь в Петербурге гасит день к четырём часам, и я за свой век резал при лампе больше, чем при солнце.

Оставалось три вершка черты. Последней, замыкающей, той, что сводит ряды в кольцо и пускает заряд по кругу. Дрогни рука на ней, и всю вещь можно везти в переплавку: никакое обновление её уже не поднимет.

Рука не дрожала. Тело у меня в семьдесят один год было неважное: спина до обеда не разгибалась, колени ныли к перемене погоды, глаза без очков видели только то, что далеко и не нужно. Руки держали. Руки оставались последним, что было у меня своего, и я берёг их, как иной бережёт деньги на чёрный день.

Сегодня было второе декабря.

Это число я знал сорок лет. Знал его князь, знал его покойный батюшка, знал весь дом Зарецких, разве что конюхам не докладывали. Второго декабря 1848 года старый князь Николай Кириллович ударил со мной по рукам в этом самом зале. Уговор был простой: сорок лет я режу под именем его младшего брата Леонтия, а потом получаю вольную и своё клеймо. Сорок лет кончались сегодня. День в день.

Я довёл черту до конца, снял резец со стали и только тогда распрямился. Спина хрустнула так, что, верно, было слышно в нижнем цеху.

Стальной круг лежал передо мной на кожаной подушке с песком: в аршин поперёк, толщиной в палец. Я гнал его три месяца. Семь рядов рун шли от середины к ободу, и вязь была такая плотная, что посторонний глаз увидел бы в ней узор, а не работу. Я провёл над последней чертой ладонью, не касаясь. Тепло поднималось от стали ровно, без толчков. Черта взяла заряд и держала его, как добрая печь держит жар.

Хорошая вещь, может, лучшая из всего, что я сделал, а для чего она, мне так и не сказали. Это и грызло меня все три месяца. Заказ пришёл от самого князя, через Кармазина из городской конторы: чертёж рядов, сроки, сталь, и ни слова о назначении. По ободу круга шли гнёзда, пустые, ровные, выточенные на станке ещё до того, как сталь легла ко мне на подушку. Как под вставки. Что в них вставят, я не знал. За всю жизнь я резал гвардии клинки, банкам замки, мостам опоры, кораблям обшивку и всегда знал, для чего режу. Мастер, который не знает назначения вещи, режет вслепую, а вслепую я не работал с десяти лет, с тех пор как отец привёл меня сюда за руку и оставил у горна.

Плохую работу видно с порога, говорил я ученикам. Тут работа была хорошая, моя. Плохо было другое: я не видел, к чему она пристроена.

Ладно. Это теперь не моя забота. Отдам круг, получу бумагу, а в гнёзда пусть вставляют хоть самоварные краны.

Я перевернул круг.

Исподняя сторона была чистая, отполированная до серого зеркала, и в ней отразились лампа и моя борода. Сюда никто не смотрит. Круг ляжет в оправу лицом вверх, и испода не увидит ни князь, ни Леонтий, ни тот, кто станет потом совать в гнёзда своё.

Я взял малый резец, самый тонкий, которым режу волосяные черты, и долго не начинал.

Сорок лет на моих вещах стояло чужое клеймо. Литое, красивое, с короной поверху: «Л. З.». Ставил его не я, ставил подмастерье при отделке, уже после меня, и сорок лет я делал вид, что не вижу. Своего клейма у меня не было. Вернее, было, но только в голове. Я придумал его себе в двадцать восемь лет, когда меня впервые назвали мастером: две буквы, «С» и «Б», связанные одной чертой, а под ними малая руна, моя собственная, которой нет ни в одной книге. Руна руки. Вещь, на которой она стоит, помнит, кто её резал. Я ни разу её не резал. Берёг для вольной.

Вольная будет завтра. Может, ещё сегодня. А круг уходит к князю утром.

А что, если обманут? Эта мысль сидела у меня под рёбрами с самой осени, с того дня, как Кармазин перестал здороваться со мной первым. Обманут, и на этой вещи не останется ничего моего. Только почерк, а мою руку в империи прочтёт разве что мастер. Мастеров таких по пальцам перечесть, и все служат дому.

Ладони у меня вспотели. Глупость какая. Я резал руны на клинке, который потом подносили государю, и руки были сухие. А тут две буквы на исподе, где никто не увидит.

Я вытер ладонь о запон, опустил очки со лба на нос и начал.

«С» вышла с первого раза, мягкая, круглая. «Б» я связал с ней одной чертой, не отрывая жала. Потом руна. Её я резал дольше, чем любой ряд в этом круге, и чувствовал, как она пьёт из меня тепло: в груди сделалось пусто и легко, как после причастия. Черта замкнулась. Металл под пальцами коротко дрогнул и затих: первая подпись за сорок лет, величиной в ноготь.

Я посидел, глядя на неё. Было страшно и смешно разом. Старый дурак, а режет тайком свои буквы; в гимназии за буквы, вырезанные на парте, секут. За такое меня могли выставить за ворота и без всякой вольной. Я перевернул круг лицом вверх, накрыл суконкой и налил себе чаю из жестяного чайника, что стоял на краю верстака с обеда. Чай перестоял и горчил. Я пил его с удовольствием.

Дверь распахнулась без стука. Так ко мне входил только один человек.

Леонтий Кириллович Зарецкий, великий мастер, как писали о нём в газетах, внёс в резной зал запах одеколона и мокрого бобра. Шуба на нём была распахнута, на пальцах в свете лампы играли перстни. Шестьдесят три года, а бакенбарды и волосы чёрные, как вакса, и так же блестят от помады. Красил он их сам, по субботам. Весь дом это знал, и весь дом молчал.

— Кончил? — спросил он с порога и, не дожидаясь ответа, пошёл к верстаку. — Кончил, вижу. Ну-ка.

Он сдёрнул суконку и хлопнул по кругу ладонью, по-хозяйски, сверху. Ладонь у него была белая, пухлая, без единой мозоли. Столько лет я на неё смотрел и всё не мог привыкнуть: у человека, на чьих вещах написано «великий мастер», руки как у купчихи.

— Хорош, — сказал он. — Хорош, голубчик. Князь будет доволен. На этой вещи, разумеется, будет моё имя. Как всегда.

— Как всегда, — согласился я.

Он не услышал. Он никогда не слышал, что я говорю, если это не касалось его самого. Он уже взял с верстака мой резец, средний, с буковой рукоятью, которую моя ладонь полировала двадцать лет, и вертел его в пальцах. Держал он его как перо: тремя пальцами, за самый кончик, точно сейчас обмакнёт в чернильницу и подмахнёт вексель.

— Знаешь, что я думаю, — сказал Леонтий, разглядывая круг. — Надо бы мне тут штрих оставить. На память. Маленький, вот здесь, у края. Мою, так сказать, руку. Для порядка.

Он наклонился и нацелил жало в мой седьмой ряд.

Я встал, взял его за запястье и вынул резец из его пальцев. Так вынимают ложку у ребёнка, который собрался ткнуть ею в кошку. Он даже не успел сжать пальцы, да и нечем ему было сжимать.

— Не надо, Леонтий Кириллович, — сказал я. — Рука у вас для пера. А сталь пера не любит.

Он побагровел, но ненадолго. Злиться на меня всерьёз ему было невыгодно, и это он помнил даже тогда, когда забывал всё остальное.

— Ворчун, — сказал он и погрозил мне перстнем. — Старый ворчун. Сорок лет одно и то же. Ладно, будь по-твоему. Князь в конторе, приехал взглянуть на работу. Хочешь, ступай к нему сам, порадуй. Я скажу, что ты кончал под моим присмотром.

— Скажите, — ответил я.

Он ушёл, оставив дверь настежь и запах одеколона, который потом выветривался из зала с полчаса. Я положил резец на место, к остальным, рукоятью к себе, как он лежал до того. Сдвинул очки обратно на лоб. Ладони опять были мокрые.

До конторы надо было идти через весь нижний цех.

Мастерские Зарецких стояли на Васильевском у самой Смоленки: три закопчённых корпуса, двор, заваленный углём и железом, и над всем этим труба, дымившая день и ночь. Нижний цех был поточный. Здесь резали то, что дом продаёт городу сотнями и тысячами: руны для газовых фонарей, запорные руны для замков, тормозные колодки конки, печные заслонки. Работа простая, на неё ставили подмастерьев, и я проходил тут каждый день по пути к себе наверх.

Хотя время шло к семи, в цеху ещё работали. Ряд верстаков под газовыми рожками, звон, запах масла и окалины, сквозняк от ворот. Подмастерья по привычке поднимали на меня головы, кто-то сдёрнул картуз.

У крайнего верстака двое резали колодки. Я остановился за спиной у младшего, рыжеватого, лет девятнадцати, которого так и не успел запомнить по имени, и посмотрел, как он ведёт черту.

Черта была мелкая. Нарочно мелкая, по указу. Указ этот я знал больше двадцати лет. Поточные руны дом резал на короткий заряд: колодка, которая могла бы держать пять лет, держала полгода, и потом город нёс её в контору дома на обновление и платил. Ещё через полгода снова. Выходило, что город брал у дома собственные колодки внаём, платил за них дважды в год и не догадывался, потому что городу никто не показывал, как режут честно.

— Мелко берёшь, — сказал я.

Парень дёрнулся и обернулся.

— По указу, Савва Игнатьич. Велено на полугодовой.

— Знаю, что велено. — Я взял у него колодку и повернул к свету. Черта была чистая, ровная; руку парню поставили неплохо. — Работа хорошая. Обман плохой. Эта колодка под гружёным вагоном на мосту встанет, а через полгода не встанет, и поедет вагон в канал вместе с барынями. Я так не резал никогда и вам не велю.

— Савва Игнатьич, — подал голос старший с соседнего верстака, — нам велено. Нас за ворота выставят.

— Велено, так режь, — сказал я и вернул колодку. — А я сказал. Чтоб вы знали, что режете.

За спиной сперва было тихо, потом звон пошёл снова. Вслух я мог такое говорить только сегодня. Завтра я вольный человек, и пусть хоть пополам меня пилят за мои слова.

Контора дома при мастерских помещалась во флигеле у ворот. Два этажа, мытые полы, дубовые двери, а печи топили так, что после цеха у меня запотели очки. В передней мне навстречу попался Модест Петрович Кармазин из городской конторы, постукивая по паркету тростью с серебряным набалдашником; пальто за ним нёс лакей. Он прошёл мимо, не повер-

нув головы. Смотрел он сквозь меня, и ленивое веко у него даже не дрогнуло. Раньше он хоть кивал.

Я снял шапку и постучал.

Князь Андрей Николаевич стоял у изразцовой печи и грел руки. Руки были чистые и узкие. Я знал его с пелёнок, все его сорок шесть лет, и ни разу не видел у него в пальцах ничего тяжелее вилки.

— Савва Игнатьевич! — Он обернулся так, будто ждал меня весь вечер. Голос у него был тёплый, бархатный, отцовский. — Входите, входите. Мне доложили: кончили?

— Кончил, ваше сиятельство.

— Я и не сомневался. Вы всегда к сроку. Батюшка говаривал, что по Бердышеву можно часы проверять. Садитесь. Нет-нет, садитесь, прошу, в ногах правды нет.

Я сел на край стула. Кресло у князя было глубокое, кожаное, а мне в него садиться в запоне было совестно.

— Ваше сиятельство, — сказал я. — Сегодня второе декабря.

— Второе, — согласился князь. Улыбнулся мягко, с участием. — Помню, Савва Игнатьевич. Как не помнить. У нас в доме это число знают лучше, чем именины.

— Сорок лет, — сказал я. Голос у меня сел, и я откашлялся. — В этот самый день ваш батюшка дал мне слово. Сорок лет под именем Леонтия Кирилловича, потом вольная и своё клеймо. Я своё отработал.

— Отработали, — сказал он. — С лихвой. Кто бы спорил.

Он подошёл и положил мне руку на плечо. Рука была тёплая от печи. Я больше полувека прожил в этом доме и все эти годы слышал этот голос и у старого князя, и у молодого. Так у них хвалили хорошую лошадь. Так говорили о вещи.

— Бумаги готовят, — сказал князь. — Это ведь не росчерк, Савва Игнатьевич, там и в палату надо, и свидетели. Завтра. Приходите ко мне с утра, всё сделаем как положено. С шампанским, если угодно. — Он засмеялся. — Вы ведь шампанского в жизни не пили, признайтесь.

— Не пил, ваше сиятельство.

— Вот завтра и выпьете. А нынче поздно, вы устали. Захар! — Лакей возник в дверях. — Подай Савве Игнатьевичу чаю. С лимоном, покрепче. И баранок. Как дочка твоя, Захар, отпустило горло?

— Отпустило, ваше сиятельство, премного благодарны.

— Ну и славно.

Чай принесли в стакане с подстаканником, крепкий, с толстым кругом лимона. Я грел о стакан пальцы и пил мелкими глотками. Чай был горячий, настоящий, такого у меня наверху не водилось. Князь сел напротив и смотрел на меня с тем же ласковым участием.

— А что же вы станете делать на воле? — спросил он.

— Своё клеймо ставить, — сказал я. — Лавку открою. Может, учеников возьму, если пойдут.

— Лавку, — протянул он ласково. — Ну что ж. Ваше право.

Больше он ничего не сказал. Я допил чай, поблагодарил, надел шапку уже в передней. Баранки лакей завернул мне в бумагу, и я сунул их за пазуху. На крыльце ударил ветер с залива, мокрый, со снежной крупой, и я стоял на ступеньках дольше, чем надо: ноги несли, а уходить не хотелось.

Завтра. Сорок лет ждал, подожду и ночь.

Спать я не лёг.

Каморка моя была за резным залом, через стену, и я лежал там на кровати одетый, глядел в потолок и слушал, как гудит в трубе ветер. К часу ночи стало ясно, что не усну, встал, взял лампу и вернулся в зал.

Ночью зал был другой. Стеклянный фонарь над головой стал чёрным, по нему шуршала крупа. Верстаки стояли пустые, укрытые, и пахло остывшим маслом. Круг лежал под суконкой там, где я его оставил. Я не стал его открывать. Сел к своему месту, разложил резцы на кожаной скатке и стал править их на оселке, один за другим, как правил каждый вечер перед сном, сколько себя помню. Масло на камень, жало под угол, ровным кругом, без нажима. Ничто так не успокаивает руки.

Дверь отворилась без скрипа. Петли у нас смазывали хорошо.

— Не спите, Савва Игнатьевич?

Кондрат Ильич Сычёв вошёл и прикрыл за собой дверь. Я знал его с тех пор, как он бегал по двору за своим отцом, старым дворецким, в курточке с медными пуговицами. Теперь ему было пятьдесят. Встретишь такого на улице, примешь за приказчика из хорошей лавки и забудешь через шаг; разве что глаза запомнишь, бледные, как вода в проруби. При доме он был для дел, о которых в доме не говорят. Чем именно он занимался, я никогда не спрашивал. Мастеру лучше не знать лишнего, это я усвоил смолоду.

В руке у него была сложенная бумага.

— Не сплю, — сказал я. Оселок у меня в пальцах остановился сам. — А вы с чем, Кондрат Ильич?

— С бумагой. — Он поднял её чуть выше, показал. — Князь велел не тянуть до утра. Сказал, вы сорок лет ждали, незачем вам ещё ночь мучиться.

Я поднялся. Колени скрипнули. Шагнул к нему и протянул руку.

Бумагу он не отдал. Он смотрел не на меня, а мимо, на верстак, на круг под суконкой.

— Это она? — спросил он. — Последняя?

— Она.

— Хорошо, что успели. — Он кивнул, отметив что-то про себя. — Князь беспокоился.

Слова у него были ровные, вежливые. Но он не подходил ближе и не отходил от двери, а бумагу держал в левой руке и правую из кармана пальто не вынимал. Стоял он спокойно: у него всё было решено, и торопиться ему было некуда.

— Там ведь нет вольной, — сказал я.

— Нет, Савва Игнатьевич. — Он сунул бумагу в карман. — Вы человек дела, я вам скажу как есть, без обиняков, вы этого заслужили. Дом считал. Вольный Бердышев со своим клеймом дому соперник. Через год к вам пойдут заказчики, через два вы откроете, чьи вещи сорок лет носит гвардия, и с Леонтием Кирилловичем выйдет нехорошо, а с ним и со всем домом. По скромному счёту это сотни тысяч, не считая имени. А Бердышева, которого не было, никто не хватится. Вас ведь нет нигде, Савва Игнатьевич. Ни на одной вещи.

Сказал он это без злобы, как приказчик называет цену.

— Слово старого князя, — сказал я.

— Старый князь умер. Нынешний вам ничего не обещал. — Сычёв помолчал. — И вы не один такой, не обижайтесь. Нынче ночью дом закрывает все старые счета разом.

Правую руку он вынул из кармана.

Нож я узнал раньше, чем он показался из кармана весь. Узкий, длиной в ладонь с лишком, с костяной рукоятью и коротким упором. Я резал его в 1871 году, весной, по заказу старого князя. Ряд остроты, ряд крепости, вязь, чтобы не скользил в мокрой руке. Князь тогда сказал, что это подарок верному человеку на десять лет службы. Я ещё подумал, какая служба у человека, которому дарят такой нож.

Вот, значит, какая.

Стоял я у верстака, в руке у меня был резец, средний, с буковой рукоятью, только что заправленный. Бежать некуда: дверь за ним, окон в зале нет, только фонарь в крыше. Кричать бесполезно. Мастерские спят, а кто не спит, тот служит дому.

Но этот нож был мой.

У всякой моей вещи есть ключ. Место, которое знаю только я, одно на всю вещь, малая черта, спрятанная в ряду так, что чужой глаз её не отличит от прочих. Провести через неё одну черту, и руны садятся, вещь становится просто железом. Это правило ремесла, старое, как само ремесло: мастер оставляет себе ход назад, чтобы его работа не пережила его волю. Я ни разу в жизни не распускал своих вещей. Никто никогда не спрашивал меня, где у них ключи. Дом брал их готовыми и считал своими.

У этого ножа ключ сидел у пяты, во втором ряду, под самым упором.

Сычёв пошёл на меня коротко, снизу, без замаха, и левой рукой сгрёб меня за плечо. Ни одного лишнего движения: делал он это не впервые. Я не стал уходить. В семьдесят один год от ножа не уйдёшь. Я шагнул навстречу и поймал клинок резцом у самой пяты, жалом в жало, сталь на сталь, и повёл черту.

Сорок лет назад я провёл бы её за полвздоха. Теперь рука шла, а пальцы не поспевали за головой. Жало резца нашло ключ, вошло в него, я почувствовал, как черта режет, как ряд остроты дрогнул и начал садиться, а за ним ряд крепости. Нож в руке Сычёва потускнел. На глаз ничего не изменилось, а на ощупь тепло ушло из стали наполовину, разом, одним выдохом.

Наполовину. Больше я не успел.

Сычёв рванул нож на себя. Резец сорвался с пяты и на возврате полоснул его по тыльной стороне левой руки, которой он придерживал меня за плечо. Глубоко, от костяшек к запястью. Он даже не вскрикнул. Только втянул воздух сквозь зубы и посмотрел на свою руку.

— Надо же, — сказал он с каким-то удивлением.

Потом ударил снова.

Полчерты мало. Острота у ножа села, крепость села, и вязь, чтобы не скользил, ослабла. Но нож, даже без рун, остаётся ножом. Он вошёл мне под рёбра простой сталью, туго, со скрежетом по кости, и я услышал этот скрежет изнутри.

Больно не было. Это меня удивило больше всего. Было холодно. Холод вошёл вместе с клинком и пошёл от него в стороны, к рукам, к ногам, будто меня опускали в невскую воду. Резец выпал из пальцев и звякнул о пол. Я слышал этот звон очень хорошо, лучше, чем всё остальное, а потом звон остался, а пол ушёл. Я сел у верстака. Ноги не держали.

Сычёв наклонился надо мной. Лицо у него было спокойное, бледные глаза смотрели внимательно и деловито: проверял, сделано ли. Левую руку он держал на отлёте, и с неё капало на мой запон.

— Простите, Савва Игнатьевич, — сказал он.

Звон в ушах становился всё громче, а свет лампы уходил куда-то вбок и вверх, к чёрному стеклу фонаря. Руки я уже не чувствовал. Ни левой, ни правой. Мои руки. С десяти лет они держали резец, а теперь их просто не стало.

Над головой, на верстаке, под суконкой, лежал круг. Утром его унесут к князю, вставят в оправу лицом вверх, и никто никогда не перевернёт его. Две буквы и малая руна на исподе, величиной в ноготь. Единственное, что я подписал за всю жизнь.

Пусть лежит. Хоть там.

Холод дошёл до груди, и звон стал белым.

# Глава 2. Сугроб

Во рту был снег.

Я лежал лицом вниз, и снег набился в рот, в нос, под веки. Он был грязный, с привкусом угольной золы и чего-то солёного. Солёное оказалось моей кровью. Дошло это до меня, когда я попробовал сплюнуть и не смог: губа не слушалась, распухла и онемела, как чужая.

Значит, я был жив, и мысль эта была неправильная. Я помнил нож под рёбрами, скрежет по кости, белый звон. После такого не просыпаются. После такого лежат на столе в мертвецкой, а потом в сюртуке, в котором меня при жизни мало кто видел.

Я попробовал поднять голову. Голова поднялась, а вместе с ней поднялась такая боль в боку, что я опять уткнулся в снег и лежал, пока не отпустило. Боль была не там. Сычёв бил меня справа, под рёбра, снизу. А болело слева, и не так, как болит нож. Так болят рёбра, по которым били сапогом.

Холод был страшный, ночной, совсем другой, чем тот, что входит с клинком. Пальцы ног я уже не чувствовал, руки горели, и о руках я подумал первым делом.

Я вытащил из-под себя правую руку и поднёс к лицу. Варежки на ней не было: сорвали, видно, когда били, и драный её комок валялся тут же в снегу. В темноте разглядеть было трудно, но откуда-то сбоку падал жёлтый свет, и я увидел: длинная, тонкая, с острыми мосластыми костяшками, с ногтями, обкусанными до мяса. На ладони твёрдые мозоли, но не мои. Мои были на других местах, от резца и подушки, а эти от молотка и клещей. Рука молодая. Кожа на ней была гладкая, ни одной старой отметины, ни одного ожога от горна. Чужая рука, а шевелилась по моей воле.

Левая рука лежала в снегу, откинутая в сторону, и под ладонью у неё было что-то твёрдое и холодное. Я сжал пальцы, не думая, просто чтобы держаться за что-нибудь. Пальцы легли на обмотку рукояти, на витую проволоку под ней, на крестовину.

Эфес был знакомый: глаза его ещё не видели, а ладонь уже знала. Так узнают в темноте собственную ложку или перила своей лестницы. Изгиб, вес, баланс, чуть смещённый к острию, длинная пята. Я держал его двадцать лет назад, когда кончал на нём ряд лёгкости, и с тех пор в руки не брал.

Пальцы сжались на рукояти сами, крепко, по-боевому. И мир оглох.

Ветер пропал. Только что он шуршал крупой по сугробу и посвистывал в водосточной трубе над самой моей головой, а теперь его не было. Пропало моё собственное дыхание: я дышал, грудь ходила, пар шёл изо рта, а звука не было никакого. Где-то за дворами лаяла собака, далеко, глухо, и этот лай я слышал. Я открыл рот и сказал что-то, сам не знаю что. Голоса не было.

Оглох, решил я. И тут же: какое оглох, собаку-то слышу. Значит, всё-таки умер, и вот оно как бывает. Лежишь в сугробе, чужая собака за три двора брешет, а тебя самого нет, ни вздоха, ни голоса, до самого Страшного суда.

Мне стало страшно, по-настоящему, до дурноты, и пальцы разжались сами.

Всё вернулось разом: и ветер в трубе, и моё хриплое, сиплое дыхание, и скрип снега подо мной. Я лежал и слушал всё это, как музыку в Летнем саду.

Потом медленно, чтобы не дёргать бок, повернулся на спину и поднёс к глазам левую руку, ту, что держала. Шрама на левом указательном, который я заработал резцом в четырнадцать лет, не было и в помине. Тогда я посмотрел на то, что она держала.

Сабля лежала в снегу рядом со мной, голая, без ножен. Лёгкая кавалерийская, гусарского образца, с длинной пятой. Свет фонаря, висевшего над чёрным ходом дома, ложился на клинок вдоль, и я увидел ряды. Острота, лёгкость, вязь удержания. Узкие, тонкие, как волос. На клинке темнела кровь, уже схваченная морозом.

«Ласточка».

Я резал её весной 1868 года для гусарского корнета, сына какого-то тамбовского помещика. Мальчишка хотел саблю, которая весила бы как перо и рубила как топор. Я сделал ему такую. Он приезжал смотреть на работу и всё спрашивал, правда ли, что её режет сам Леонтий Кириллович. Ему говорили, что правда. Имя ей он дал сам, когда взял в руку и не почувствовал веса.

Двадцать лет. И вот она лежит в лиговском сугробе в крови, а я лежу рядом в чужом теле.

Я положил голые пальцы на клинок у пяты, на сами ряды, подальше от рукояти. Глаз тут ничего не скажет. Скажет касание.

Я закрыл глаза и стал читать.

Рука моя, это я знал и так. Глубина, угол, тот ритм, с которым я вёл длинные черты, не отрывая жала: так никто больше не режет. Весна, апрель, сталь ещё помнила, как пахло тогда в резном зале распахнутыми окнами и речной водой. Вязь удержания я тогда переделывал дважды. Помнил и это.

Дальше был разряд. Свежий, меньше часа назад, и полный, на все ряды разом. Клинок ещё не остыл от него внутри, как не остывает топор, которым только что кололи дрова. А кровь на клинке говорила остальное: ударили человека.

Шов я нашёл не сразу. Ряд лёгкости был не мой. То есть мой, начало и конец мои, а середина перерезана. Чужое жало прошло по моим чертам и повело их в сторону, поверх, иначе. Шов перекройки всегда видно мастеру: на нём рука меняется, как меняется голос, когда фразу начал один человек, а кончил другой. Здесь кончал другой. Молодой, хорошей школы, твёрдый в линии. И перекроил он лёгкость на то, что я знал только по слухам и никогда не держал в руках: на «глушь».

Цех такого не режет. Я слышал о ней в молодости от старых мастеров, шёпотом и с оглядкой: есть, мол, такая руна, гасит звук вокруг клинка, кто держит его в бою, тот режет в тишине. Рунщики дома её не резали, это было не наше дело, а дело тех, кто убивает по ночам. Вот отчего оглох мир, когда я сжал рукоять.

Кто же ты такой, мастер хорошей школы, что сделал из моей «Ласточки» ночной нож?

Рука в шве была знакомая. Я её знал, и знал близко. Ставил её кто-то, кого ставил я сам, мои это были повороты кисти, мои привычки, только моложе и неувереннее. Я потянулся за именем, и имя было рядом, на самом краю, только не давалось.

В голове лопнуло, будто кто-то изнутри ударил молотком в висок. Перед глазами пошли зелёные круги. Я отдёрнул руку от клинка, и что-то тёплое потекло по разбитой губе, по подбородку, в снег. Кровь из носа. Много. Я лежал и смотрел, как она чернеет на снегу в фонарном свете, и думал, что это тело не годится для чтения. Сколько себя помню, читал руны и ни разу не кровил.

Тогда оно и заговорило, хотя голосом это назвать было нельзя. Скорее строка, какую пишут резцом по меди: она появилась не то перед глазами, не то в голове, сухая, короткая.

[Резьба: 3. Чтение рун: 7.]

[Тело: истощение. Смертельное повреждение закрыто.]

И сразу следом, будто ставят клеймо на только что принятую вещь:

[Сабля «Ласточка». Разряд: имперское. Перекроено.]

Я лежал и смотрел в чёрное небо над крышами. Сердце колотилось по-заячьи, по-молодому: у меня старого оно так не умело.

Я узнал его. Узнал по руке, как узнал саблю. В этих строках был мой ритм, мой угол, моя малая руна, которую я резал на исподе круга несколько часов назад, или несколько лет назад, или в прошлой жизни, это как посмотреть. Руна руки, та самая. Она помнила, кто её резал, и вспомнила меня. И вынесла.

Куда вынесла, это было видно и так: в сугроб, к собственной сабле, в тело, которое умирало рядом с ней. Как именно, я не знал. Кто знает, как работает руна, которой нет ни в одной книге?

Клеймо. Моё клеймо, первая моя подпись за сорок лет, заговорило со мной из стали, что осталась на Васильевском. Так я его про себя и назвал: «Клеймо».

Резьба три. Это у меня-то, который резал гвардии клинки. Выходило, что голова моя при мне, а рука этого тела режет, как подмастерье на втором году. Чтение семь, и вот это было похоже на правду: глаз и касание при мне, только тело за них платит. Истощение. Смертельное повреждение закрыто.

Только смертельное. Я ощупал себя свободной рукой, медленно, ребро за ребром. Слева при каждом вдохе что-то хрустело и стреляло: ребро треснуло, и не одно. Лицо горело. Левый глаз заплыл и почти не открывался, бровь над ним была рассечена, и кровь застыла в ней коркой. Губа разбита. Зубы, слава богу, на месте, я пересчитал языком. Ноги были, руки были. Сил в этом теле было шагов на сто, не больше. Я это знал так же точно, как знаю, на сколько хватит заряда в черте.

Кто-то хорошо поработал над этим мальчишкой. Поработал до смерти, а потом ушёл. Я пришёл на готовое.

Надо было вставать, и я перевернулся на бок, потом на четвереньки. Двор качнулся и встал на место. Это был дровяной двор, тесный, с высокими поленницами вдоль брандмауэра. Над чёрным ходом дома висел фонарь, лестничная дверь под ним была приоткрыта. Дальше, в глубине, задняя калитка в заборе. С другой стороны арка на улицу, тёмная, и за ней шумела вода под ледком: канал.

Я посмотрел на снег.

Снег во дворе был истоптан, но свежий слой лёг с вечера, крупой, и в свете фонаря следы читались ясно. От арки к моему сугробу шли два следа: один в сапогах с подковками, мелкий, второй в разношенных валенках. Шли, топтались у сугроба, ушли назад. Тут же было месиво, где кого-то валяли и били. Меня. Этого мальчишку.

Поверх всего шёл третий след: валенки, огромные, в полтора моих. Шаг широкий, тяжёлый, вдавленный глубоко. Он начинался у чёрного хода, у той самой приоткрытой двери, шёл к моему сугробу, стоял тут, топтался, и дальше уходил к задней калитке. И лёг он сверху: там, где пересекал следы двух первых, края их были смяты его подошвой.

Значит, сначала были двое. Двое били мальчишку и ушли. Потом из чёрного хода вышел кто-то большой, подошёл к сугробу, постоял надо мной и ушёл в калитку.

Сабля у меня под рукой была не моя, то есть не этого мальчишки. У мальчишки с такими руками и в таком зипуне не может быть гусарской сабли имперского разряда. Её положили. Положили рядом с телом, которое должно было к утру окоченеть. И разряд меньше часа назад. Кого-то зарубили этой саблей в этом доме, и большой человек вышел из чёрного хода и положил её мёртвому мальчишке под руку.

Хорошо придумано: утром придут, найдут мёртвого с саблей, найдут убитого наверху, и всё сойдётся.

Только я был живой.

Я протянул руку к сабле. Взять её, унести, спрятать. Без неё в этом сугробе лежит просто избитый мальчишка. С ней лежит убийца. Я обхватил её за клинок, ниже пяты, чтобы ни в коем случае не взяться за рукоять по-боевому, и попробовал встать вместе с ней.

Встать я не смог. Бок дёрнуло так, что двор поплыл, и я лёг обратно в снег щекой, и лежал, пока в глазах не прояснилось. Сабля весила фунта три, не больше. Для этого тела она весила как наковальня.

На улице за аркой скрипнула калитка, и по своду арки прошёл качающийся жёлтый свет. Кто-то шёл с фонарём. Шаркал, кашлял по-стариковски. Дворник. Делает ночной обход, как положено, и сейчас войдёт сюда.

Думать пришлось быстро. Быстрее, чем последние лет двадцать.

Нести саблю я не могу. Ползти с ней по двору я буду до утра. Если дворник найдёт меня с саблей в руках, разговора не будет никакого: возьмут, свяжут и к утру отправят в часть. Если найдёт саблю у сугроба, а меня нет, разговор будет. Плохой разговор, кровь моя на снегу, следы мои. Но разговор.

Жизнь сейчас, правда потом. Я разжал пальцы, положил «Ласточку» в снег, где она лежала, и пополз к задней калитке.

Ползти было хуже, чем я думал. Каждый раз, когда я подтягивал колено, рёбра щёлкали, и я останавливался и ждал. Свет фонаря во дворе за спиной стал ярче, шаги ближе. Я полз по следу больших валенок: в нём снег был утоптан, и колени не проваливались. Калитка была прикрыта, но не заперта. Я толкнул её головой, ввалился в проход за забором и замер.

Прямо передо мной, в узком проулке между двумя заборами, стоял мальчишка с охапкой поленьев.

Лет двенадцати, не больше. На голове огромный чужой картуз, из-под него торчал рыжий вихор, рыжий даже в темноте. Пальто на нём было взрослое, обрезанное по колено и подвязанное верёвкой. Поленья он прижимал к груди обеими руками, и одно уже выскальзывало.

Мы смотрели друг на друга. Он не бежал. Я тоже.

— Федька? — сказал он наконец, со свистом, через дырку в зубах. — Ершов? Ты чё, живой?

— Живой, — сказал я, примеряя к себе эти два слова, Федька и Ершов. Голос вышел ломкий, мальчишеский, с петухом на конце. Я поморщился. — Пока.

— Гля, — сказал мальчишка, разглядывая меня. — Рожа-то у тебя. Это кто тебя, Клещ с Рябым опять? За долг?

Клещ. От этого слова тело моё, это чужое тело, само вжалось в забор, и в животе стало холодно и пусто. Я этого Клеща не знал. А тело знало и боялось его до тошноты.

— Они, — сказал я наугад.

— Ну дак. Я ж видал, они вечером в «Ледянке» сидели, Клещ говорил, сегодня, мол, Ершова поучим. Я думал, так, языком чешет. — Он покосился на калитку, за которой качался свет. — А ты чего тут ползаешь? Там Матвей с фонарём идёт, он поленья считает, мне с ним никак.

— Мне с ним тоже никак, — сказал я. — Дойти до дому помоги.

Мальчишка подумал. Было видно, как он думает: картуз съехал набок, глаза, чёрные и быстрые, ходили с меня на поленья и обратно.

— А чё дашь?

— Копейку.

— Копейку, — фыркнул он с презрением, какого я не слыхал даже у купцов на Апраксином. — За копейку я тебе дров донесу. А тебя тащить, ты длинный, как жердь. Две копейки и пирожок.

— Копейку и пирожок, — сказал я. — И поленья свои понесёшь сам, я их не трогал.

— Копейку и пирожок с мясом.

— С чем будет.

Он вздохнул, как вздыхает покупатель, которого обвесили, сложил поленья под забор, потом подумал, взял два самых сухих и сунул за пазуху. После этого подставил мне плечо.

Плечо у него было острое, как угол сундука. Я навалился на него, и мы пошли. Он был мне по грудь, и я висел на нём всей тяжестью, а он пыхтел, сопел и ругался, но шёл.

— Ты Федька, я Гаврик, — сказал он, когда мы вывалились из проулка на набережную. — Ты чё, не помнишь? Тебе, видать, совсем голову отбили. Я ж к вашей лавке бегал, ты мне летом хлеба давал.

— Помню, — соврал я. — Голова только гудит.

Набережная была пустая. Канал лежал внизу, между гранитными стенками, и на нём уже стоял тонкий тёмный лёд, а местами чернела открытая вода. Фонари горели через один, керосиновые, тусклые. На той стороне тянулись склады да тёмные окна доходных домов. Где-то вдалеке, к Обводному, гудел паровоз. С канала тянуло дымом и нечистотами, и я, старый дурак, всю жизнь проживший на острове у Смоленки, даже не знал толком, где нахожусь.

— Далеко? — спросил я.

— Чё далеко, вон, — Гаврик мотнул картузом. — Сто шагов, может, поболе. Ты чё, и это забыл?

Поболе. А в этом теле было шагов ровно сто, не больше, и остаток Гаврику предстояло тащить на себе. Я шёл, считая про себя, и на семидесятом ноги стали ватными, на девяностом я перестал чувствовать, куда их ставлю. Гаврик втащил меня в ворота двора, где лежала тьма и пахло помоями и хлебом, мимо какой-то низкой двери, из-под которой тянуло теплом и дрожжами, к другой двери, над которой висела жестяная вывеска. Света не было, но буквы я разобрал: «Починка. Т. Ершов».

— Ключ-то есть у тебя? — спросил Гаврик.

Я полез в карман зипуна. Рука сама знала, в какой. Сама нашла за подкладкой, в дырке, ключ на верёвочке. Денег в кармане не было ни копейки, только этот ключ. Пальцы ощупали дырку, и тело опять сжалось: там что-то было и пропало, и это пропавшее было очень важно.

Дверь открылась тяжело, на тугих петлях. Внутри было черно и холодно, как в погребе.

— Спички на притолоке, — сказал Гаврик, но рука моя уже шарила по притолоке.

Лампа стояла на прилавке, керосиновая, с треснутым стеклом. Я зажёг её трясущимися пальцами, с третьей спички, и огляделся.

Мастерская была маленькая. Передняя с прилавком, на прилавке медный колокольчик и счёты. За перегородкой горн, давно холодный, на нём серый пепел. Наковальня на дубовом чурбаке. Верстак у окна, а на стене над ним, на гвоздях и в кожаных петлях, отцовский инструмент. Я подошёл к нему, держась за стену.

Напильники, рашпили, клещи, молотки, два ряда резцов в деревянной колодке. Резцы были простые, слесарные, но заправлены хорошо, и рукояти у всех вытерты одной рукой. Хозяин инструмент любил. Я взял один, самый мелкий, и повернул жалом к лампе. Угол честный. Брусок к нему прикладывали недели три назад, не больше. Потом, видно, некому стало прикладывать.

Т. Ершов. Отец. Что с ним, где он, я не знал.

— Ты пирожок обещал, — напомнил Гаврик от двери.

Пирожков в лавке не было. Ничего съестного не было вообще: я заглянул на полку, в шкафчик под прилавком, в горшок у печи. В горшке на дне смёрзлись остатки каши. Живот у меня от одного вида этого горшка свело так, что я сел на табурет.

Баранки, вспомнил я некстати. Баранки князя остались у меня за пазухой. У меня, у старика на полу резного зала. Вот уж кому они теперь ни к чему.

— Завтра, — сказал я Гаврику. — Завтра будет и копейка, и пирожок. Слово.

Гаврик сдвинул картуз на затылок и оглядел меня с валенок до макушки, по-взрослому. Чего-то во мне ему не понравилось, но что именно, он, видно, понять не мог.

— Ты, Федька, чудной какой-то, — сказал он. — Ладно. Завтра приду. Ты смотри, не помри до завтра. С тебя станется.

Он ушёл, и с ним ушли два полена, которые он нёс за пазухой. Я подумал, что одно он мог бы и оставить на растопку, и тут же сообразил, что растопить горн мне всё равно нечем и некогда.

В чулане за горном стоял топчан с тюфяком и лоскутным одеялом. Я добрался до него, лёг как был, в зипуне и валенках, и натянул одеяло до подбородка. Под одеялом было не теплее, чем в сугробе. Я лежал, стучал зубами и смотрел в темноту.

Я умер. Это я знал точно. Меня убил Кондрат Сычёв ножом моей же работы, а князь велел подать мне чаю с лимоном. Нынче ночью дом закрывает все старые счета разом, сказал Сычёв. Все. Значит, я был не один.

А потом в лиговском дворе убили кого-то моей саблей, перекроенной на «глушь» чужой рукой, и положили саблю у мёртвого мальчишки. И мальчишка встал, потому что в него влез я.

Совпадение это или нет, думать я сейчас не мог. Резец не торопят. Сначала спать и есть, а там видно будет, на что годится это тело.

Я уснул, так и не согревшись.

Разбудил меня стук в дверь. Громкий, хозяйский, кулаком.

— Федька! Федька, слышишь, нет? Отпирай, у тебя огонь ночью был, я видала! Отпирай, а то ухватом дверь выставлю!

Я встал. Встать оказалось хуже, чем ночью: за ночь всё, что было отбито, схватилось и одеревенело. Добрался до двери, держась то за верстак, то за прилавок, и отпер.

На пороге стояла женщина лет пятидесяти, крупная, в белом фартуке, со следом муки на щеке. В руке она держала свёрток, от которого шёл пар и пахло так, что у меня потемнело в глазах.

— Батюшки, — сказала она, увидев моё лицо. — Батюшки светы. Это кто ж тебя так? Это Клещ, ирод, да? Я ж говорила, говорила я тебе: не носи ты им ничего, они тебя ж и прибьют, и деньги возьмут. Ну, я этому Клещу…

Она не договорила, отодвинула меня рукой и вошла. Огляделась, увидела холодный горн, горшок с кашей, одеяло, брошенное на топчан. Сунула мне в руки свёрток.

— На вот. Калач горячий, только из печи. Ешь, бестолочь. Отец твой, царствие ему небесное, на Покров помер, а ты за два месяца в скелет усох. Ешь, говорю.

Калач обжёг мне пальцы. Я разломил его, и пар ударил в лицо, и запах, белый, хлебный, с поджаристой коркой. Я откусил и не смог остановиться. Ел, давился, разбитая губа горела, а я ел. Тело было так голодно, как сам я не голодал никогда в жизни, даже мальчишкой при горне. Стыдно было, а остановиться не мог.

Женщина смотрела, уперев руки в бока.

Когда от калача осталась одна корка, я перевёл дух, вытер рот рукавом и сказал то, что сказал бы любой порядочный человек, когда его накормили:

— Благодарствуйте, хозяюшка. Спасли старика. Дай вам бог здоровья.

Она замерла.

— Чего? — сказала она. — Какого старика?

Что я сказал, я расслышал только вместе с ней. И голос, ломкий, мальчишеский, и слова, стариковские, с поклоном. В мастерских Зарецких старые мастера так благодарили кухарку за щи. Так не говорит лиговский парень соседке.

— Голова, — сказал я, отводя глаза. — Отбили голову. Несу не пойми что.

Она подошла ближе, взяла меня за подбородок твёрдыми, сильными пальцами в муке и повернула лицом к свету, так и этак, как поворачивают на прилавке подгорелую булку. Глаза у неё были чёрные, бойкие, цепкие.

— Федька, — сказала она. — Ты как не свой.

Что тут скажешь: я и был не свой, в прямом смысле слова. Она отпустила моё лицо и перекрестилась размашисто, по-деревенски.

— Пойду, у меня тесто стоит, — сказала она. — К обеду щей принесу. И не ходи никуда, слышишь? Лежи. Я тебе потом…

С улицы, со стороны канала, донёсся шум. Голоса, много голосов, кто-то кричал, кто-то бранился, скрипели сани. Свистнул городовой, протяжно, по-казённому.

Мы переглянулись. Она первая пошла к двери, я за ней.

Двор был ещё серый, утренний, рассвет только начинался над крышами. Ворота на набережную стояли открыты. Я дошёл до них, держась за стену, и встал в проёме.

Вдоль канала, шагах в полутораста, у арки того самого дома, откуда я ночью выполз, стояли сани, толпились люди, торчали две фуражки городовых. Из арки вынесли носилки. На носилках под рогожей лежало что-то длинное, и из-под рогожи свешивалась рука и моталась в такт шагам носильщиков.

Следом за носилками из арки вышел третий городовой, молодой, с усами щёточкой. В руках он нёс саблю. Нёс на вытянутых руках, за клинок, обернув его тряпкой, далеко от себя, как несут дохлую крысу.

Мою «Ласточку».

# Глава 3. Офицерская улица

К полудню о ночном деле знал весь канал от Обводного до Знаменской.

Я узнал о нём последним, хотя лежал ближе всех. Прасковья Ильинична, как обещала, принесла щей в горшке, обмотанном полотенцем, поставила на прилавок, села на табурет так, что табурет крякнул, и рассказала всё разом, не переводя дыхания, по-лиговски: с божбой, с подробностями и с собственным мнением о каждом покойнике.

Убили Кукшина, Фрола Евсеевича, ростовщика. Того самого, у которого в долгу полквартала, и Ершовы тоже. Зарезали в собственной конторе на втором этаже, ночью, саблей. Приказчик его спал за стенкой и ничего не слыхал, его уже забрали. А во дворе, в сугробе у поленниц, нашли эту саблю, и рядом с ней кровь, много крови, а чья кровь, неизвестно. И дворник ихний, Матвей, божится городовым, что ночью видел во дворе Федьку Ершова.

— Тебя, значит, — сказала Прасковья Ильинична и посмотрела на моё лицо так, будто прикидывала, сколько этой крови могло из меня вылиться. — Ты ешь, ешь. Остынет.

Я ел. Щи были кислые, с капустой и куском говядины, и я старался есть не так жадно, как утром, а получалось всё равно жадно. Между ложками слушал.

— И это ещё не всё, — сказала она. — Клещ, ирод, с утра по всей набережной ходит и рассказывает. Будто сабля эта у вас в лавке лежала, в починке. Лавка, говорит, рунная, к Тимофею господа оружие носили, вот Федька и взял. Это к Тимофею-то! — Она хлопнула ладонью по колену, и с фартука поднялось облачко муки. — Да Тимофей в жизни сабли в руках не держал, он замки чинил да щеколды да самовары лудил. Какие господа? Я двадцать лет напротив живу, я этих господ в глаза не видела.

— А люди верят? — спросил я.

— Люди, — сказала она с отвращением. — Люди чему хочешь поверят, если громко сказать. Клещ громко говорит.

Я доел щи, отложил ложку и посмотрел в окно. Окно лавки выходило во двор, и через двор было видно открытые ворота, а за ними кусок набережной. Там, у парапета, стояли человек шесть: двое извозчиков, баба с корзиной, мастеровые. Перед ними, лицом ко мне, стоял человечек в котелке.

Пробор у него был напомажен так, что блестел отсюда, а на ногах сидели начищенные сапоги с подковками. Правая рука в кармане, левой он размахивал, показывая то вдоль канала, то на наши ворота. Говорил что-то, и мастеровые кивали.

Тело его узнало: в животе сжалось, по плечам прошла дрожь, и рука сама потянулась к ушибленным рёбрам, прикрыть. Пальцы под прилавком затряслись. Чужой страх, мальчишкин, въевшийся глубоко. Страх был не мой, а трясло меня, и от этого я злился.

— Он? — спросил я.

— Он, — сказала Прасковья Ильинична. — Кто ж ещё. Семён Клещёв. Сборщик кукшинский. А позади его, гляди, Ванька Рябой торчит. Два сапога пара.

Позади Клеща и правда торчал второй, большой, рыхлый, с рябым лицом, в разношенных валенках, стоптанных набок. Он шмыгал носом и смотрел на воду.

Сапоги с подковками и разношенные валенки. Двое, что топтались у моего сугроба. Ну что ж, Семён Клещёв. Запомню.

Сабля у тела должника, кровь должника у сабли, дворник видел должника во дворе, а сборщики уже рассказывают улице, откуда у должника сабля. К вечеру каждая баба на канале будет знать, что Федька Ершов зарезал ростовщика, чтоб не платить. А тело Федьки должно было лежать в сугробе и молчать. Только тело ушло.

Значит, будут искать. Сыскная ищет быстро, когда всё уже сложено за неё.

— Околоточный спрашивал про тебя? — спросил я.

— С утра. Я сказала, не видала. — Прасковья Ильинична поджала губы. — Я околоточному правду не говорю, не приучена. Он с моего Ильи покойного двадцать лет «на праздники» брал. Только он и без меня найдёт, ты не думай. Ворота-то вон, напротив.

Она ушла к своему тесту, забрав горшок. Я остался один.

Надо было понять, что у меня есть. Голова есть, это ясно. А руки?

На верстаке под окном лежала отцовская недоделка, я заметил её ещё утром: рунная щеколда для дворовой калитки, стальная планка с пазом, а на планке начатый ряд запорной руны. Простая работа, ремесленная, подмастерье на втором году режет такие пачками. Тимофей Ершов успел прорезать половину ряда и бросил. Черты у него были честные, глубокие, чуть угловатые. Рука небыстрая, но аккуратная.

Я сел за верстак, зажал планку в тисках и снял с колодки резец, который проверял ночью. Повертел в пальцах. Пальцы были длинные, ловкие, с мозолями от молотка, но резец лёг в них чужим, совсем иначе, чем ложился всю жизнь. Рукоять упиралась не туда, большой палец не находил места.

Руку ставят. Поставим и эту.

Я поставил жало на конец отцовской черты, наклонил под нужный угол и повёл.

Резец сорвался на втором вершке. Кисть дрогнула, жало вильнуло вбок и прочертило по стали царапину, кривую, как след курицы на снегу. Я посмотрел на неё и почувствовал, как к лицу приливает кровь.

Ещё раз. Медленнее. Я подпёр правую кисть левой ладонью, как ставят подмастерьям в первую неделю, и повёл снова. Черта пошла, но шла она неровно, рывками, жало то зарывалось, то выскакивало. Голова знала, какой должна быть черта, до волоса знала: глубина, угол, нажим, когда отпустить. А рука не слушалась головы. Рука была как плохой подмастерье, которому всё объяснили, а он делает по-своему.

На третьем вершке кисть свело, и я положил резец.

Три. Ночью эта строка сказала мне «Резьба: 3», и я тогда подумал, что ослышался, если про строку можно так сказать. Не ослышался. Тройка была честной. Даже щедрой.

Я сидел и смотрел на свою кривую черту и на отцовскую рядом, ровную. Мальчишка, чьё тело я носил, резал бы лучше меня. Тимофей Ершов наверняка поставил сыну руку. Только руку эту отбили в сугробе вместе со всем остальным, или она ушла вместе с мальчишкой, куда там уходят.

Я злился, горячо, как из горна, и злился на это тело больше, чем на Клеща: на эти пальцы, на сорок лет, которые я в них не мог вложить. Потом отпустило, и я стал считать, как считал всю жизнь. Знания, глаз и чтение при мне, чтение только дорогое. А руки нет. Руку ставят годами, но я знаю, как её ставить, лучше всех в этом городе. Значит, поставлю быстрее.

А пока резать мне нельзя. Ни для денег, ни для дела. Вот что есть.

Я встал и пошёл искать, что ещё есть.

Под прилавком, в ящике со счётами и квитанциями, нашлась тетрадь в клеёнчатом переплёте. На первой странице рукой Тимофея было выведено: «Долг Ф. Е. Кукшину». Дальше столбиком: взято двести двадцать рублей на уголь, сталь и уплату за квартиру, март сего года; платить по пятнадцати рублей в месяц со второго числа; проценты. Ниже шли платежи: апрель, май, июнь, июль, август, всё тем же ровным почерком. Сентябрь. Октябрь уже другим почерком, крупным, кривым, с ошибкой в слове «рублей». Ноябрь тем же. А последняя строка, карандашом, была не платёж: «Дек. 2. Нести десять р. Больше нету».

Срок был вчера.

Я сунул руку в карман зипуна, в ту дырку за подкладкой, которую ночью нащупали пальцы. Пусто. Там были десять рублей, теперь я это знал. Мальчишка понёс ростовщику десять вместо пятнадцати, всё, что наскрёб за месяц, и встретил во дворе Клеща с Рябым. Клещ забрал деньги и сделал остальное. Где теперь эти десять рублей, догадаться было нетрудно.

Значит, денег у меня ноль. Долг сто с лишним рублей с процентами, срок вчера, а кредитор лежит в мертвецкой, зарубленный саблей. И сабля эта моя.

Был ещё один ящик под прилавком, побольше. В нём лежала толстая книга в картонном переплёте, затёртая по углам. Приёмная книга лавки. Я открыл её наугад. «Мая 14. Замок висячий, рунный, от г-жи Пономарёвой, д. 9, обновить. Взято сорок коп.» «Мая 16. Щеколда, двор Синебрюхова, переточить паз». Каждая вещь, принятая в починку, с числом, с именем, с ценой, и рядом пометка: «выдано». Тимофей вёл её три года, с самого открытия лавки, аккуратно, как ведёт книгу хороший приказчик.

Я прошёл её страницу за страницей, до последней записи, сделанной за три дня до Покрова. Замки, щеколды, самоварные краны, фонари, заслонки, и ни одного клинка.

Вот она, первая нитка.

Сыскная придёт за мной сюда, сегодня к вечеру или завтра с утра. Придёт со всем, что ей уже сложили: сабля, кровь, дворник, сборщики. И Федька Ершов, лиговский должник с разбитым лицом, будет стоять перед ними и мычать. А если я приду сам, первым, с книгой в руках и с тем, что могу им сказать о сабле, это будет другой разговор: про то, что я знаю.

К тому же сабля там. А мне надо к ней ещё раз. Надо знать, чья рука в шве.

Я закрыл книгу.

— На Офицерскую? — переспросила Прасковья Ильинична. Она стояла у своей печи в булочной, через двор, и вынимала хлебы деревянной лопатой. В булочной было жарко, как в бане, и пахло так, что у меня опять закружилась голова. — Сам? В сыскную? Да ты в уме ли?

— В уме.

— Не в уме. — Она поставила лопату. — Тебя там и оставят. Ты им как подарок на блюде.

— Оставят так и так, — сказал я. — Лучше я им сам что-нибудь скажу, чем они мне.

Она вытерла руки о фартук, упёрла их в бока и покачала головой. Наконец полезла в карман фартука, вынула кошелёк, долго в нём рылась и выложила мне на ладонь гривенник.

— На конку, — сказала она. — Пешком ты туда не дойдёшь, ты и до угла не дойдёшь, ноги вон дрожат. Туда пятак, обратно пятак. Если отпустят.

— Отдам, — сказал я.

— Отдашь, отдашь. — Она махнула рукой и взяла с полки пирог, завернула в бумагу и сунула мне за пазуху. — На. На острог.

В лавке я снял с гвоздя у двери отцовский тулуп. Он был мне велик в плечах и короток в рукавах, а по длине доставал до колен, и пахло от него горном и табаком. Я надел его, и плечи сами расправились под знакомой тяжестью. Приёмную книгу я обернул в чистую тряпицу и сунул под мышку.

Конка шла от Знаменской по Невскому. Я ждал её на углу, на ветру, полчаса, и полчаса прыгал с ноги на ногу, держась за бок. Наконец подошёл вагон, две лошади в инее, кондуктор в башлыке. Наверх, на империал, где ездят за три копейки, мне было не забраться, и я сел внутрь за пятак, к окну, рядом с купчихой в лисьей шубе, которая посмотрела на моё лицо и подобрала подол.

Невский тянулся за обмёрзшим стеклом, длинный, дымный, с санями, вывесками, городовыми на перекрёстках. Я смолоду жил на острове и бывал на Невском редко, по делам дома, всегда в санях с кем-нибудь из конторы. Теперь я смотрел на него из конки, как лиговский мальчишка, и он казался мне огромным и чужим, каким никогда не был.

У Адмиралтейства я сошёл и пошёл пешком, Вознесенским, мимо Мойки, к Офицерской. Каланчу Казанской части я увидел издали: она стояла над крышами, высокая, с шарами на мачте, и на её галерее ходил пожарный. Под каланчой, в доме двадцать восемь, помещалась сыскная полиция.

Внутри было жарко натоплено и пахло мокрыми шинелями и сургучом. Городовой у входа оглядел моё лицо и тулуп и спросил, куда.

— К тому, кто ведёт дело Кукшина, — сказал я. — С Лиговки.

Он хмыкнул и показал на дверь в конце коридора.

Дежурная комната была длинная, с барьером посередине. За барьером сидели двое писарей, а у самого края, у печи, третий. Этот был лет тридцати пяти, с ровным пробором, и руки у него были белые, мягкие, в чернилах по самые манжеты. Перед ним лежала раскрытая книга, и он писал в ней с таким скучным лицом, с каким переписывают прейскурант.

— Ну? — сказал он, не поднимая глаз.

— Я Ершов, Фёдор. С Лиговки. Меня, говорят, ищут по делу Кукшина.

Писарь поднял глаза, и взгляд его съехал с моего лица на тулуп, а с тулупа на пирог, который торчал у меня из-за пазухи. Брови у него поползли вверх.

— Ты, что ли, сдаваться пришёл?

— Поговорить пришёл.

— Поговорить, — протянул он. Обернулся к двум другим. — Слыхали? С Лиговки пришли поговорить. С пирогом. — Те засмеялись. Он снова повернулся ко мне, и на лице у него появилась улыбка, гладкая, услужливая, которой он, видно, улыбался начальству, а сейчас улыбался мне, чтобы было смешнее. — Ну садись, Ершов, поговорим. Вон туда, на лавку. Аркадий Павлович на выезде, будет к трём. Может, тебе пока чайку?

— Не откажусь, — сказал я.

Он перестал улыбаться.

Чаю мне никто не дал. Я сел на лавку у печи, у стены, рядом с дверью, которая вела, судя по сквозняку из-под неё, на чёрную лестницу и во двор. Дверь была обита железом, с рунным запором. Сидел я так, что запорная пластина приходилась мне почти у плеча, и делать мне было нечего целый час.

Я смотрел на неё сперва от скуки. Потом с интересом. Потом снял варежку и тронул пластину пальцами.

Беглый взгляд мастера почти ничего не стоит. Глубокое чтение берёт с тела плату, а лёгкое касание и глаз только скользят по верху: что за работа, хороша ли, много ли в ней осталось. Это я умел и ночью в сугробе, и это не стоило мне ни капли крови.

Работа была дрянь. Казённый подряд, какой-нибудь лиговский рунщик похуже Тимофея, без школы, режет как видит. Черты запорной руны он нарезал не в том порядке. Начал с хвоста, кончил головой. Задом наперёд. Руна держала, конечно, и засов ходил, и держать будет. До первого крепкого мороза. Сталь на морозе садится, а заряд в перевёрнутой руне течёт против засова, и когда сталь сядет, засов прихватит намертво, ни ключом, ни ломом.

Я отнял руку и обернулся к писарю с пробором.

— Сударь, — сказал я.

Он поднял глаза.

— Запор у вас на двери резан задом наперёд. Как ударит мороз покрепче, его заклинит. Вы тогда отсюда во двор не выйдете.

Двое других писарей опять засмеялись. Писарь с пробором глядел на меня поверх журнала, не мигая.

— Тебя, Ершов, — сказал он, — сюда не двери чинить привели.

— Меня сюда никто не приводил. Я сам пришёл.

— Тем хуже для тебя. Сиди тихо.

Я сидел. Через полчаса один из писарей окликнул его: «Сухарев, подай журнал», и я запомнил фамилию. Через час с лишним в коридоре хлопнула дверь, раздались тяжёлые шаги, и писарь с пробором вскочил, одёрнул сюртук и стал другим человеком.

В дежурную вошёл, не постучав, широкий тёмный человек.

Среднего роста, но такой широкий, что в дверях ему пришлось бы повернуться боком, если бы двери в сыскной строили поуже. Лет сорока пяти. Левое плечо у него сидело ниже правого, заметно, на вершок, а нос когда-то перебили, и он так и остался чуть свёрнут влево.

Он оглядел писарей, потом меня, и начал с рук. Именно с рук, а в лицо уже после. Видно, руки, по его разумению, врали реже лиц.

— Это кто? — спросил он.

— Ершов, ваше благородие, — Сухарев уже стоял у барьера. — Фёдор Ершов, с Лиговки, тот самый. Сам пришёл. Говорит, поговорить.

— Сам. — Широкий человек стянул барашковую шапку и стряхнул с неё снег об колено, на каракулевый воротник пальто посыпалось мокрое. Усы у него были густые, с проседью, и седины в них было больше, чем в стриженых волосах. — Ну, пошли, Ершов, раз сам. Поговорим. Сухарев, бери журнал, наверху писать будешь.

Кабинет у него был на втором этаже, в конце коридора. Сухарев поднялся следом за нами с журналом под мышкой и сел у двери кабинета, за столик в коридоре, где лежали чернильница и стопка чистых листов. Сам кабинет был маленький, в одно окно, с голым столом, двумя стульями и железным шкафом в углу. На стене висела карта Петербурга по частям, исколотая булавками. Хозяин кабинета сел за стол, мне показал на стул напротив. Пальто не снял, только расстегнул.

— Чиновник сыскной полиции Строев, Аркадий Павлович, — сказал он. — Веду дело об убийстве ростовщика Кукшина. Ты, значит, Фёдор Тимофеевич Ершов, восемнадцати лет, сын покойного слесаря Тимофея Ершова. Должен Кукшину. Сколько?

— Сто с лишним, — сказал я. — С процентами не знаю.

— Сто с лишним. Срок?

— Вчера.

— Вчера. — Он кивнул, как экзаменатор, довольный ответом. — Дворник покойного видел тебя ночью во дворе. Сборщики покойного, Клещёв и этот, Рябой, показали, что ты ходил ночью платить и что денег у тебя не было. В сугробе у поленниц нашли саблю, на сабле кровь Кукшина, а рядом с саблей кровь чья-то ещё. По лицу твоему видно чья. Ну? Что скажешь?

Голос у него был хриплый, командный. Он не повышал его, ему не надо было.

— Скажу, что ночью меня во дворе били, — сказал я. — Клещ с Рябым. За то, что десять рублей принёс, а не пятнадцать. Десять забрали. Бросили в сугроб. Я очнулся, уполз домой. Саблю видел. Не брал.

— Не брал, — повторил Строев. — А как она к тебе под руку попала?

— Положили.

— Кто?

— Не знаю. Большой кто-то. Следы в валенках у сугроба, во какие. — Я показал руками.

— Следы, — сказал он без выражения. — Следы, Ершов, затоптали к утру городовые, дворник и полквартала любопытных. Так что следов нет. А сабля есть, и кровь есть, и дворник. — Он помолчал. — Знаешь, что я сейчас сделаю? Кликну Сухарева, и он отведёт тебя вниз, в камеру. А завтра поговорим, когда ты подумаешь как следует.

Он повернулся было к двери, кликнуть писаря, и не кликнул. Пожевал ус, кисло, и посмотрел на меня из-под бровей.

— А вот чего я не пойму, Ершов. Откуда у лиговского должника гвардейская сабля?

Это был правильный вопрос, и задал он его сам, без подсказки. Видно было, что он гоняет его в голове с самого утра и ответ сборщиков его не устроил.

Внутри у меня всё поднялось. Старик, полжизни говоривший с князьями, рвался ответить ему как надо, медленно, точно, с расстановкой. Я держал старика за горло. Говорил я как лиговский парень: коротко, глядя исподлобья.

— А сборщики вам что показали, ваше благородие?

— Показали, что сабля была у вас в лавке. В починке. Лавка у вас рунная, вещи вам носили.

— Тогда вот.

Я развернул тряпицу и положил на стол приёмную книгу.

— Отцовская. Всё, что в лавку принимали, за три года. Что приняли, когда, от кого, почём. Посмотрите, ваше благородие, сколько там сабель.

Строев взял книгу. Пальцы у него были толстые, короткие, с разбитыми костяшками. Он открыл её с конца, долистал до начала, потом стал листать снова, медленно, страницу за страницей, водя пальцем по строчкам. Я ждал. В кабинете было слышно, как тикают ходики на стене и как за дверью скрипит перо Сухарева.

— Самовары, — сказал наконец Строев. — Замки. Щеколды. Фонари. — Он закрыл книгу. — Ни одной сабли.

— Ни одной.

— Книгу можно и подчистить.

— Можно, — согласился я. — Только тогда видно будет, что подчищено. А там подчисток нет. Там вся книга одной рукой, одними чернилами, по месяцам. Вы бумагу на свет посмотрите.

Он и правда поднёс страницу к окну и прищурился. Положил книгу на стол и разглядывал меня уже иначе, чем в дежурной.

— Ну, допустим, — сказал он. — Допустим, сабли в починке не было. Значит, сборщики врут. А зачем им врать? Может, ты её с улицы принёс. Или украл.

— Может, — сказал я. — А может, дайте мне её в руки на минуту, и я вам скажу про неё то, чего не знаете ни вы, ни ваши люди. И чего ни один лиговский должник знать не может.

— Это что же?

— Как ею убили. И почему приказчик за стеной ничего не слышал.

Строев сидел неподвижно, а затем откинулся на стуле, так что стул затрещал, сунул руку в карман пальто и вынул жестяной портсигар. Закурил дешёвую папиросу, не спрашивая. Дым поплыл к окну.

— Наглый ты, Ершов, — сказал он наконец.

— Какой есть.

— У меня таких наглых в камере трое. Все сами пришли, все говорить хотели. — Он затянулся. — Ладно. Будь по-твоему. Только слушай меня. Дам тебе саблю. Если ты мне сейчас наврёшь, если ты меня за нос водишь, если это какая-то лиговская штука, ты сегодня же сядешь, и сядешь надолго, и я сам позабочусь, чтобы тебя до суда не выпустили. Понял?

— Понял.

— Сухарев! — рявкнул он, не повышая голоса, так, что я и не понял, как это у него вышло.

Писарь возник в дверях.

— Саблю по делу Кукшина. Из кладовой. Живо.

Сухарев исчез. Минут через пять он вернулся с длинным свёртком из мешковины. Нёс его на обеих руках, плашмя, подальше от себя. Положил на стол, развернул. Под мешковиной была тряпка, под тряпкой «Ласточка».

Кровь на клинке так и засохла, никто её не стирал. Рукоять, обмотка, крестовина, длинная пята. Ряды тонкие, как волос. Сухарев косился на меня и не уходил.

— Ступай, — сказал Строев. Сухарев вышел и прикрыл дверь.

— Брали её как? — спросил я.

— Как брали. За клинок, в тряпке. Улика. — Строев смотрел на меня поверх папиросы. — Ну? Скажешь, что на ней написано, чья работа? Это мы и без тебя узнаем. Позовём кого-нибудь из рунных контор.

— Нет, — сказал я. — Я вам покажу, что она делает.

Я встал. Ноги держали плохо. Протянул руку над столом и взял «Ласточку» за рукоять, как берут её в бою: плотно, всей ладонью, большой палец на упоре, мизинец прижат.

Пальцы легли на обмотку. Я сжал их.

Ходики на стене остановились. То есть маятник за стеклом качался, как качался, а звука не стало. Скрип пера за дверью шёл как шёл, а своего дыхания я не слышал.

Строев сказал что-то, коротко, губы у него шевельнулись под усами. Я не услышал ни слова. Он нахмурился, сказал снова, громче, подался вперёд. Ничего.

Тогда он вскочил, ударил кулаком по столу, так что подпрыгнула пепельница, и закричал. Я видел, как у него раскрылся рот под усами, как вздулись жилы на шее.

Звука не было.

# Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.